

МЫСЛЬ В КУЛЬТУРЕ

[1989]

Я хотел бы рассмотреть вопрос о мысли в культуре, имея в виду некое чудо мысли и ее невозможность, — кроме как путем чуда, — случаться в культуре, в которой для осуществленной мысли тут же находятся и всегда существуют, как в антимире, некие тени или образы, сами не отбрасывающие тени, и живущие, говоря словами Франсуа Вийона, «без жизни». Собственно, имея дело именно с этими образами, нам и приходится задаваться вопросом о мысли как вопросом о том, «как можно вырваться из этого морока»? Особенно если этот морок носит зачастую эпидемический характер. Характер внезапной и массовой эпидемии, за которой отчетливо читается, на мой взгляд, какое-то внутреннее самоубийство. То есть во многом вопрос о мысли является одновременно и поиском ответа на вопрос о самоубийстве, только не совсем в том смысле, как об этом говорил, например, Камю, а в ином — в смысле наличия, как выражались старые философы, изначального зла в человеческой природе. А это изначальное зло, очевидно, в той немоготе, что не по силам и самому человеку. Она, как саднящая заноза, сидит, и человек хочет поскорее от нее избавиться. Но прежде он готов весь мир обвинить в несовершенстве, не замечая, что тем самым и совершает самоубийство вначале путем уничтожения мира вокруг, а затем и вырывания с корнем себя. Иными словами, я хочу сказать, что этот корень как раз и невыносим.

И вот эта заноза невыносимости может быть вынута, очевидно, только актом мышления.

Можно задаться вопросом: не приходит ли в действие при этом «высокая духовность».

Я думаю, что со словами «высокая духовность» нужно очень деликатно обращаться. Ведь она может быть весьма «низко» расположена — никто этого не знает, так же как никто не знает, где расположено тело (я имею в виду кантовский подход к этой проблеме). Чувство уравновешенности, гармонии, что содержится в простейших капризах человеческих, в том числе, скажем, и в лени, лишь постфактум выглядит как акт некоей духовности. То есть вся беда в том, что локализовать духовность практически невоз-

можно. Оперирование высокими понятиями — самое большое искушение для человека, которому он охотно поддается, думая, что уже сам факт обращения к ним возвышает его. А в действительности проблема состоит в том, что понятия вообще как таковые не содержат аналитически в самих себе состояний мысли.

Состояние мысли всегда есть некоторый дополнительный живой акт, случающийся вместе со значением понятий, в том числе и высоких. Случившись, такое состояние неотличимо от понятия, в котором оно — увы — не содержится. Живое лишь дает о себе знать своим присутствием, а ухватить различие живого и мертвого в понятии мы не можем.

То, что я говорю, мне кажется очень важным еще и потому, что позволяет приблизиться к пониманию того, о чем мы действительно думаем или что нас в действительности беспокоит, когда мы говорим о культуре. Исторический опыт показывает, что культура не есть совокупность высоких понятий или высоких ценностей. Она не есть это хотя бы потому, что никакие ценности, никакие достижения и никакие механизмы не являются в данном случае гарантией. Слюбых высот культуры можно всегда сорваться в бездну.

Следовательно, то, что я называю культурным состоянием или, скажем так, состоянием мысли, это некоторая историческая точка, точка самоподдерживающаяся и пребывающая живой на безумно закручивающейся кривой. И она имеет бескультурье не позади себя. Культура не есть нечто, возникающее из хаоса. Хаос и бескультурье не сзади, не впереди, не сбоку, а окружают каждую историческую точку. Так же как в математике рациональные числа окружены в каждой точке иррациональными числами. В том числе и потому, что сама культурная форма существования наших мыслей (ибо без формы ничего не бывает) фундаментально предполагает в себе незнание. То есть некую пустоту, оставленную онтологическим устройством и мира, и мысли для того, чтобы заполниться живым актом, живым, напряженным, волевым состоянием. Чтобы мысль была, должна быть воля, чтобы была мысль. Это, кстати, и называется чистой мыслью. Это тот случай, когда термин «мысль» как бы избыточен, поскольку мысль производится не механически. Попытаюсь пояснить сказанное (по аналогии) на примере веры.

Всем известно изречение, над которым принято обычно смеяться, а именно: «Верую, ибо абсурдно», «Верую, ибо невозможно» (в двух вариантах). Но ведь тот, кто сказал это, прекрасно понимал, что значит состояние веры. В самом деле, как можно верить в то, что производится неким механизмом, независимо от самой веры. В приложении к таким состояниям термин «вера» просто излишен — по правилу Оккама он должен быть афоризмом. О вере действительно можно говорить лишь в том случае, если речь идет о чем-то, что не может существовать помимо самого акта веры. То есть то, что невозможно иначе или абсурдно иначе, только и может быть предметом веры или верой. И мистики это давно знали, они прекрасно понимали суть дела, суть тех актов сознания, которые здесь совершаются, сказав, что фактическим предметом веры является сама вера, что это есть возобновление, возрождение самой способности и силы верить. Другое дело, что такие акты уже в момент их свершения растворены каким-то содержанием, которое открывается нам на основе этих же актов, и мы поэтому сам акт не замечаем в чистом виде, но для этого (чтобы его ухватить) и существует специальная техника — техника религиозного и философского мышления.

Значит, — возвращаясь к культуре, — фактически проблема ее состоит не в том, как нам распорядиться существующими и нами помнимыми свершениями человеческого духа, человеческого умения, а в том, насколько мы понимаем, что все это несамодостаточно, не самоналажено, что хаос, как я сказал, не позади, а окружает каждую точку культурного существования внутри самой культуры. И дополнительным, все время восполняющим условием культуры является свершение — всегда случайное — именно такого рода живых состояний или живых актов, которые сами по себе не являются ценностными, полезными, а являются тем, что Кант называл «бесконечными ценностями», или «бесцельными целями». Ведь ценность, по определению, есть что-то конечное, а мы говорим о «бесконечности ценности», т. е. о том, что никогда, ни в какой данный момент времени не имеет никакой конкретной, размерной ценности, а является разрывом, сдвигом.

Так вот, если эти акты не совершаются, если не находится в культуре достаточного числа людей, способных на поддержание

этого на вершине собственного усилия, то ничего нет. А если что-то и есть, то это всего лишь тени, неотличимые от живого. Сошлюсь на один из примеров недостойности нашего человеческого существования.

Я имею в виду вопрос о том, пить нам вино или не пить. Как известно, одно время из наших кинофильмов, телепередач стали исчезать простейшие человеческие жесты, посредством которых человек поднимает бокал, чокается, подносит его ко рту и выпивает. И поэтому, оказалось, можно из пушкинского текста выбросить «и пунша пламень голубой» или «содвинем бокалы». Что это, как не дурной хоровод теней? Два притопа, три прихлопа. Как будто все люди обязаны выполнять что-то посредством дурного хоровода.

За каждым таким актом «необходимости» стоит, конечно, конкретное объяснение. Причины включения в этот хоровод всегда конкретны и человечески понятны. Как понятно, например, и то, что где меньше всего совершается актов понимания, там самым распространенным словом — если составлять частотный словарь языка — становится слово «понимаешь»: «ты же понимаешь», «конечно, я понимаю», «мы понимаем».

И вот эти сцепленные подмигивания друг другу, тайное, разделяемое всеми понимание друг друга и являются логикой этого царства теней, в котором жить, если есть хоть какая-то чувствительность, невозможно, потому что дело не в том, что нам холодно или мы разуты, а в том, что мы прежде всего ранены в бытии. И когда выполняется этот дурной хоровод в масштабе громадной страны, претендующей на мировое значение, и посредством этого наносятся, казалось бы, невидимые, но в действительности весьма ощутимые раны бытию, то чем это может кончиться? На что способны люди, которые могут жить по таким вот, якобы человеческим законам? Таких людей Ницше в свое время, обладая поразительно острой чувствительностью, неслучайно, видимо, называл «последними людьми». Обычно, когда говорят о Ницше, то вспоминают о его «сверхчеловеке», но он не один стоит в его символике. У него как бы трехшаговый символ: это «сверхчеловек», который не есть некое реальное существо или реальная порода людей, которая была бы выше других, а есть некое предельное для человека состояние, лишь устремляясь к которому человек может стать человеком.

Этот второй член формулы и есть то существо, которое может быть человеком, только если оно трансцендирует себя к сверхчеловеку. Ведь все существующее, как выразился кто-то, должно превосходить себя, чтобы быть самим собой.

И третий член формулы — «последний человек», т. е. как раз тот, который не совершает акта превосхождения себя.

Последний человек описывается так: «Это люди, которые уже и знать не знают, что такое звезда, и презирать себя не могут, и приговаривают: «мы счастливы, мы счастливы» — и подмигивают», — это фактически буквальная цитата из Ницше.

Отсюда, как мне кажется, выводимы очень многие культурные реалии и фактически вся проблематика культурологии и, самое главное, причины нашего интереса к ней. Не к проблемам культуры, а к человеку в культуре. То есть речь в данном случае идет о некоторых скрытых предпосылках развития и существования культуры. И то, что я частично описал как мир теней, имеет, конечно, самое прямое отношение к этим предпосылкам. К той реальной катастрофе, которую мы все испытываем и которая страшнее всех других катастроф.

Я имею в виду катастрофу антропологическую, т. е. перерождение каким-то последовательным рядом превращений человеческого сознания в сторону антимира теней или образов, которые в свою очередь тени не отбрасывают, перерождение в некоторое Зазеркалье, составленное из имитаций жизни. И в этом самоимитирующем человеке исторический человек может, конечно, себя не узнать.

И к тому же реальная культура находится вовсе не в музеях и не сводится к их посещению, а состоит в том чувстве бытия или небытия, которое я пытался описать.

Так вот, все это имеет фундаментальное отношение к мысли, к возможности нашего выполнения акта мысли.

Поскольку речь идет не о проблемах культуры, а о метафизике и онтологии, то я бы выразился так: культуры бессмертны. В плоскости любой культуры никогда не появляется смерть. Поле любой культуры бесконечно. Оно сходно с тем, что в свое время Витгенштейн говорил о глазе, что «поле глаза бесконечно». Чтобы мы ни увидели, на каком угодно отдалении — это глаз увидит; глаз видит

то, что он видит. И в культуре то же самое. Культура бесконечна. Однако у такого рода бесконечности есть, естественно, и элемент дурной бесконечности. И, более того, выпадение из нее, обращение к мысли обязательно связано с появлением символа смерти, потому что к мысли мы можем прийти, только изменившись, перестав быть прежними. Следовательно, онтологическое устройство бытия воспроизводит себя лишь с включением нашего усилия, когда, во-первых, мы становимся другими, чем были до этого, и, во-вторых, приходим к этому нашим непрерывным продолжением самих себя. Здесь есть какая-то вертикаль, секущая культурные плоскости. И на этой вертикали есть какая-то символика, в самих плоскостях никогда не данная.

Каждая культура бессмертна. И лишь вертикальное сечение вносит в нее это новое состояние, т. е. знаемый или обдумываемый символ смерти, как состояние, после которого открывается бытие, и мы можем оказаться в состоянии мысли. Упражнением или простым продолжением наших наличных логических и культурных средств мы этого сделать не можем. И отсюда я возвращаюсь к той духовности, о которой говорил вначале, к трансформированным состояниям, в которых воссоздается целое реальности, всегда иной, чем наши представления и проецируемые из них логические возможности.

Очевидно, какая-то сила действует в мире, большая, чем мы сами, и производящая в нас там, где мы отказались от самих себя, какие-то состояния, чтобы мы были достойны того, что с нами может случиться.

Иначе говоря, понять, увидеть то, что есть на самом деле, можно только в определенных пограничных состояниях. Напомню великую кантовскую мысль, которую очень часто неправильно понимают.

То, что Кант говорил о границах познания, обычно понимается так, что есть некоторые границы, дальше которых человек не может пойти: границы нашего ума, действия и т. д. Но ведь то, что такие границы есть, само собой разумеется, не в этом была проблема Канта. Дело не в границах человеческого ума и человеческих возможностей. Кантовская проблема — это проблема пограничных состояний, т. е. тех состояний, которые в принципе толь-

ко на границах и существуют. Проблема полей, напряжений, создаваемых существованием самих этих границ. Например, чистая воля – это граничное представление или граничное состояние, никогда не являющееся частью того мира, который очерчивается границей, хотя благодаря этому в самом мире может что-то произойти. Или, скажем, идеал есть граничное состояние. Я не имею в виду, что оно ирреально, поскольку в мире нет справедливого, идеального общества, которое было бы неким реальным фактом, на который мы могли бы ориентироваться и к нему приближаться. У Энгельса в свое время появилась довольно неудачная, на мой взгляд, метафора, заимствованная из обыденного словоупотребления, метафора асимптоты, т. е. некоторого приближения, путем сложения относительных суммирующихся истин, к абсолютной истине. Так вот, этого не может быть по природе самих понятий, по тому, как устроены вообще человеческие устремления. Чтобы было что-то в мире, достойное того, чтобы называться прекрасным, справедливым и т. д., должны быть указанные осознанные состояния. Внутри мира нет подобий или каких-то приближений; любое состояние одинаково предельно и одинаково далеко от бесконечности.

Не бывает большего или меньшего совершенства. Превосходное всегда столь же превосходно, как и любое другое превосходство. Так устроен мир. А наши мозги, к сожалению, устроены иначе, и исходя из того, как они устроены в смысле наших обыденных представлений, мы не можем продолжением наших сил, нашего физического, предметного видения прийти к мысли. Для этого нужно, повторяю, отказаться от проецирования самих себя (прежних) в следующий момент времени.

Следовательно, вся проблема культуры (той, которая более удачна, чем другие) состоит в следующем: возможно ли изменение в мире. Можем ли мы быть только такими, какие мы есть, или в мире возможны изменения, в частности, возвышение человека над самим собой? Ведь, в сущности, к этому и сводится призвание европейской культуры. Поэтому во многом и наш вопрос не просто о культуре, не о культурно-исторических реалиях, а о реальных духовных наших запросах или о «человеке в культуре». И ответ на него не может быть окончательным, завершенным хотя бы

потому, что мы сами себе его адресуем. Но я хочу сказать, что если мы его адресуем, то значит спрашиваем себя о своих истоках, т. е. ищем воссоединения с нашей духовной родиной, а именно с христианской европейской культурой. Причем слово «христианская» я употребляю, конечно, не в конфессиональном смысле, а имею в виду нашу способность меняться. И добавка к этому: там, где человеку неведомо, там уже работает некое первичное различительное понятие, какая-то искра как указание на некий внутренний источник и образ, данный в самом человеке, и ориентация на этот образ помимо любых внешних авторитетов, указаний и любой идеальной иерархии. Просто ориентация или путь. И достаточно на этот путь встать, и тогда нам что-то поможет. Но главное – быть достойным, что бы ни случилось. Это фундамент или основание культуры Нового времени. Существование человека один на один с миром, без каких-либо гарантий, которые были бы внешни человеку и человеческому сознанию, некоторое открытое пространство, в котором прочерчивается только путь, твой путь, который ты должен проделать сам. Кстати, это определение совпадает и с определением просвещения.

Как известно, *просвещение* есть чисто негативное понятие, т. е. понятие, не обозначающее какую-либо совокупность позитивных знаний, которые можно было бы распространять и передавать людям. Просвещение, говоря словами Канта, это взрослое состояние человечества, когда люди способны думать своим умом и поступать, не нуждаясь для этого во внешних авторитетах и не будучи водимыми на помочах. Так, спрашивается: просвещены ли мы?

И второй вопрос: чего мы ищем, когда говорим о культуре, почему мы о ней говорим?

Очевидно, когда мы говорим о культуре, то возвращаемся к исходному смыслу просвещения, ставшего фундаментом Нового времени, т. е. к таким его признакам, как активность личности, ее права, публичное выражение собственных мыслей и т. д. И вторая посылка, которая также здесь важна, – это различие между физически наблюдаемым существованием и тем, что называют *существованием* философы. То есть осуществленным существованием, покрываемым такими глаголами, как «пребыть», «войти в историческое существование», которое ведь явно отлично от намерения.

Так же, как, скажем, намерение долга отлично от самого долга, намерение мысли отлично от самой мысли, намерение искренности отлично от искренности, намерение чести отлично от чести. В предметном измерении мы не можем отличить, например, честь от намерения чести (тем более что у самого носителя этого намерения оно выражается в ментальном содержании понятий и представлений). Поступок — это случившееся состояние мысли. И раз оно случилось, оно необратимо. Как сказал бы в таком случае Кант: «Чистая воля определила себя». И это не зависит от последствий, от удачи или неудачи самого поступка. Указание на его «чистоту» еще ничего не говорит об определении воли, если это случилось. Как, впрочем, и указание на случай несправедливости действия правовой системы не характеризует саму правовую систему. Почему? Потому что целью закона является закон. Не тот или иной случай установления законности, а целью закона является закон. Так же, как целью и предметом веры является вера или целью и предметом мысли — мысль.

Например, все мы знаем о незаконном осуществлении законных по намерению целей, когда правду или социальную справедливость устанавливают насилием. Это и есть нарушение основного бытийного и онтологического устройства мира, в котором законы достигаются только законами, а не намерениями, сколь бы высокими они ни были. То же самое можно сказать относительно свободы. Иногда говорят: «Покажите мне истинный суд, истинную справедливость». И когда этого не находят, то обычно отвечают: «Вот видите, что Америка, что Россия — везде одно и то же. Люди везде лгут». Разумеется, ибо по бытийному устройству мира свобода производит только свободу. И ничего другого. Ее нельзя показать в виде предмета, и уж тем более — нельзя положить в карман.

Для разрешения такого рода вещей существуют формы. Право есть форма — и только форма. И она жива до тех пор, пока мы не пытаемся по содержанию распределить ее неким справедливым образом между людьми: форма есть только шанс добиться того, о чем она говорит.

Значит, форма правопорядка.

Искусство — форма. Наука — форма. Философия — форма. Форма чего?

Назову условно эти мыслительные устройства «машинами вре-

мени» или «машинами мысли». Почему времени? Ну, естественно, если мы сказали о вертикали, рассекающей культурные плоскости, то точки на этой вертикали по отношению к каждой из культурных плоскостей, расположенных в проекции бесконечности, будут стоянием времени, которое дано нам в форме мига, а миг может быть целой вечностью. Его измерения не совпадают с нашим различием прошлого, настоящего и будущего. Вернусь к тем различиям, которыми я уже пользовался в ходе изложения.

Значит, я сказал, что термин «мысль» мы употребляем по меньшей мере в двух смыслах; он неминуемо двойствен. С одной стороны, им обозначается намерение мысли или, так сказать, преднамерение состояния мысли, что принадлежит к знаково-предметной области, а с другой — это некое живое ее состояние. В первом случае речь идет о логических возможностях мысли. Намерение мысли — это ее логические возможности. А во втором — это понятие неотличимое от первого присутствие живой мысли. Или ее потенция в отличие от возможности. Потенция в отличие от возможности — есть возможность, обладающая одновременно силой на свое осуществление. Живьем осуществляемая мысль. Но и то, и другое мы называем мыслью. Хотя во втором смысле (состояние мысли) она не входит аналитически в содержание понятия, обозначающего то же самое. Скажем, состояние добра не входит аналитически в понятие добра. Случившись, оно смыкается с понятием, но нельзя получить оценку конкретного поступка в терминах добра приложением понятия добра. Это невозможно.

Напомню в этой связи еще одну кантовскую формулу, она звучит несколько иначе. Когда Кант, вращаясь мыслью все время по разным орбитам и вновь возвращаясь к одной точке, говорит, что «из идей идеями нельзя познавать», или когда он говорит, что разум всегда обладает «лишь вероятностью», то он имеет в виду как раз вот то, что я называл *аналитической несодержимостью*, т. е. что некоторый факт разума не содержится аналитически в понятии разума.

Фактическая сторона и есть сторона жизни, т. е. живая сила возможности, а не просто логическая возможность или намерение. Но в том и в другом случае мы говорим о мыслях и употребляем термин «мысль».

И второй момент, который у меня фигурировал: мысль отно-

сится лишь к тому, что существует в момент и внутри мысли. Как бы моментом живого движения. В момент.

Ну, простая вещь. Есть нотная запись музыкального звука. Но я утверждаю, что звук существует только, когда он исполняется. Все культурные явления таковы: книга читается и существует только тогда, когда ее читают. Другого существования она не имеет. Симфония существует только тогда, когда она исполняется. Пейзаж существует, когда на него смотрят глазами сейчас видимой картины, ибо сама природа пейзажем не является. Она — нагромождение камней, обилие трав, воды и деревьев.

И то же самое относится к обществу. Человеческое общежитие еще не есть общество. Общество — это то, что существует в момент выполнения человеческой вместимости, т. е. формы, посредством которой происходят общественные события. Только благодаря им общество существует. Но ведь эти события могут совершаться, а могут и не совершаться. Как и слова, которые могут быть только знаками, без плоти и крови, и тогда мы имеем дело с дублями. Сначала мы умираем в букве, в знаке, а потом начинаем «жить», или имитировать жизнь. Приведу пример или, вернее, два примера.

Подобное квазисуществование, или, как я уже сказал, зазеркальное существование, в котором мы не можем совершить акт мысли, связано с тем, что нарушены сами внутренние источники мысли, причем не по каким-либо цензурным запретам, а просто потому, что все уже как бы выполнено. Любое движение души, только сейчас происходящее, уже обозначено, и мы ориентируемся лишь на знак знака, или на кажимость кажимости. Отсюда, по-видимому (поскольку всегда неизбежна такого рода регрессия), и происходит в нашей культуре — и здесь я перехожу к примеру — возрождение культа мертвых, включая и тот интерес, ту популярность идей Федорова, который призывал когда-то живых заниматься воскрешением мертвых. Поразительно, что и в XX веке русская интеллигенция, будучи народной интеллигенцией, не выполняет своей интеллектуальной ответственности в смысле сохранения достоинства мысли.

Не так давно я встретил в газете описание того, как пионеры нашли останки погибших во время войны воинов. Материал об этом шел в контексте обсуждения проблемы памяти и воздаяния

дани погибшим. Так вот, сама конкретная материя описания — и состояние человека, который это описывал, и то, что описывалось, — меня лично просто потрясли.

И еще, чтобы завершить этот пример, добавлю, что я давно испытываю это ощущение. Эту деталь я не знал, но она настолько выразительна, что говорит сама за себя. Ведь очень часто истина произносится невольно. Ее не имеют в виду, а она вдруг перед нами. Речь идет о документальных кадрах похорон Ленина, где меня потряс плакат. То есть он потряс меня не сам по себе, а совпадением, прямым выражением того, что мне мыслилось и думалось по этому поводу. Плакат такой, на котором большими буквами было написано:

«Могила Ленина — колыбель человечества». Вот выражение того, что меня волнует: жизнь после смерти. Жизнь, имитирующая жизнь. И с этим же связано то, что я назвал бы *языковым ускорением*, но в обратном направлении, когда мы начинаем жить после смерти. Как гоголевский герой Башмачкин, духовная жизнь которого была ведь явно спровоцирована мертвой буквой, лишенной какого-либо смысла. И началась лирическая игра после смерти буквы. Буква, слово являются обычно увенчанием жизни духа, а здесь все наоборот, хотя и своя поэзия, своя какая-то человечность, особая логика, и в том числе обратное ускорение. Мы ведь с большой скоростью, сначала умерев, т. е. не выполнив того, что на нас склонялось в свой час, упустив свой час в развитии, окончательно деградируем. Известно, что есть такие вещи, которые, если они не произошли с ребенком в 5 лет, никогда больше не происходят. В последующие годы это возместить ничем нельзя. Некоторая такая лейбницовская петиция, которую никаким самым мощным умом нельзя компенсировать, если ее самой по себе нет или не случилось.

У таких вещей есть знак времени — «сейчас». Когда-то не случилось — и все.

И я думаю, в истории России также многое не случилось в свое время — и оказалось мертвым. В итоге — перед нами, на глазах, развилась Европа и дала свои, в том числе и отрицательные, плоды. А мы устремились в некое после-европейское состояние, не пережив никаких — не только современно-европейских, но и пред-европей-

ских состояний, упустив свой час. И фактически скорость построения нашего будущего общества оказалась чудовишной и диктуемой скорее языковой изжитостью того, что мы не пережили и не испытали сами. Потому что язык-то у нас европейский. Чернышевский и другие говорили на европейском языке, но для них капитализм, бюргерство, гражданское общество – все это были пройденные этапы, которые можно не проходить. А в действительности скорость социалистических преобразований определялась скоростью гонки за упущенным. Чудовищная скорость, но обратного значения. Но это же мыслью совершалось. Я описываю мысль, не выполняющую законов мысли.

А законы мысли выполняются только налаженными «машинами» – «машинами времени». И последний пример.

Все, что изобразительно, все, что предметно, выступает уже в другом виде, дублируется. Возьмем театр. Когда мы идем на спектакль – я беру идеальный случай, – мы знаем заранее текст. Все известно. Почему же нужен театр? Что происходит? А происходит то, что мы в театре соотносимся с тем, чего нельзя иметь, нельзя понять иначе. Театр есть «машина» введения нас в то состояние, которое существует только тогда, когда исполняется. Казалось бы, записано в тексте, стоит только прочитать, но понимание, если оно случается, происходит в театре.

Ты понял, в тебе произошло изменение, произошел катарсис, но слова ушли, поскольку сработала организованная сильная форма.

Такова же наука. То есть все это «машины», сбитые таким образом, что они могут в нас порождать то, чего мы естественным путем получить не могли бы, к чему никогда не пришли бы простым продолжением себя, продолжением наших наличных естественных ментальных и физических сил.

И такие «машины» требуют, естественно, общественного, публичного пространства. Ибо когда оно исчезает, то исчезает и мысль. Именно публичное пространство является условием самой мысли. Оно существует не для того, чтобы кому-то досадить, кого-то огорчить или обрадовать. Мысль существует только в исполнении, только в пространстве, не занятом никакими предрассудками, запретами и т. д.

Это все внутренние условия мысли, потому что, во-первых, она

не содержится в голове человека, она пространственна, иначе и артикулироваться не может, и поэтому в этом смысле не может существовать тайного знания – знания про себя, что якобы нас лишили внешнего пространства, а внутри себя мы умные и все понимаем. На деле не понимаем, по законам самой мысли.

Разрушение внешнего пространства есть разрушение внутренних источников гармонии, говорил Блок. Он подозревал такую возможность. То есть не тогда, когда продукты гармонии искажаются или гонимы, а когда разрушены внутренние источники, внутренние возможности мысли, разрушается и сама мысль, поскольку есть закон: человек не весь в человеке. Мы идем к себе издалека. Весьма издалека. И, кстати, за это время (и в пространстве), пока мы идем к себе, может многое случиться – до себя можно и не дойти, согласно той скорости, о которой я говорил.

И второе. Следовательно, можно сказать, что всего мышления недостаточно для мысли, даже для одной случайной мысли. А нужны еще вот те вещи, которые я называл дополнительными или живыми актами, живыми состояниями, имеющими свои онтологические или бытийные условия возможности. Эти условия могут разрушаться. И тогда недостаточно, например, хотеть памяти, потому что можно знать, что нужно помнить, но не в этом проблема. У нас постоянно сейчас говорят, что нужно помнить. Что должна существовать память, традиция и пр. Нелепо все это, с точки зрения грамотного мышления, т. е. условий того, как вообще что-то может быть.

Повторяю, есть различие между намерением мысли и мыслью, или намерением помнить и памятью. Дело не в том, что можно хотеть помнить. Хотеть помнить еще не есть память. Как сказал когда-то Волошин:

*И в бреду не может забыться,
И не может проснуться от сна.*

Заснуть в бреду, когда забыться нельзя и проснуться нельзя. Это промежуточное состояние и есть, очевидно, наше состояние, если у нас нет наших «машин времени».